

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО В. М. ГАРШИНА

1

Всеволод Михайлович Гаршин родился 2/14 февраля 1855 года в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии в имении своей бабки по матери.

Первые жизненные впечатления будущего писателя связаны были, однако, не с мирным уютом деревенской усадьбы, а с шумной походной обстановкой кавалерийского полка, в котором служил штаб-ротмистром его отец, происходивший из старинного, но сильно расшатанного в своей материальной базе дворянского рода.

Семейные предания сохранили облик деда Гаршина — властного самодура, жестокого и развратного помещика, особенности психического склада которого несомненно определили и душевную неуравновешенность сына и безумие внука. По матери В. М. связан был с небогатой, но очень культурной семьей Акимовых, представители которой в южных помещичьих кругах середины прошлого века стяжали прочную репутацию опасных филантропов и вольнодумцев.

Жизнь родителей В. М. сложилась очень несчастливо. Чуткому, болезненно восприимчивому мальчику пришлось быть свидетелем тяжелой семейной драмы, по поводу которой сам он впоследствии писал: «Некоторые сцены оставили во мне неизгладимое воспоминание и, быть может, следы на характере. Преобладающее на моей физиономии печальное выражение, вероятно, получило свое начало в ту эпоху».

Семейный разлад кончился разрывом. Мать Гаршина уехала в Петербург, увезя с собой двух старших мальчиков, а пятилетний Всеволод остался в Старобельске, маленьком городке Харьковской губ., куда перебрался к этому времени его отец, вышедший в отставку и, по ликвидации остатков своего разоренного родового гнезда, работавший в местных организациях по осуществлению крестьянской реформы, а впоследствии — в уездной земской управе.

По старой книжке «Современника» маленький Гаршин научился читать, и, по собственному его признанию, «никогда, кажется, не перечитал такой массы книг, как в три года жизни с отцом — от пятилетнего до восьмилетнего возраста. Кроме разных детских книг (из которых особенно памятен мне превосходный «Мир божий» Разина) я перечитал все, что мог едва понимать из «Современника», «Времени» и других журналов за несколько лет. Сильно на меня действовала Бичер-Стоу («Хижина дяди Тома» и «Жизнь негров»). До какой степени свободен я был в чтении, может показать факт, что я прочел «Собор Парижской богоматери» Гюго в семь лет, а «Что делать?» читал по книжкам в то самое время, когда Чернышевский сидел в крепости. Это раннее чтение было, без сомнения, очень вредно. Тогда же я читал Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Жуковского».

В конце лета 1863 года мать увезла Всеволода к себе в Петербург, где в следующем году он стал уже учеником первого класса 7-й гимназии. Элементы старой усадебной культуры, и без того смутные в сознании мальчика, окончательно сглажены были впечатлениями большого города, сутолокой, кипящей жизнью и деятельностью столицы, пестрым калейдоскопом лиц и предметов, тяжелой подчас борьбою за существование.

В гимназии (вскоре преобразованной в 1-е реальное училище) В. М. учился довольно плохо, семилетний курс превратился для него в десятилетний, но зато он попрежнему много читал, рисовал, коллекционировал, был активным участником школьных рукописных журналов, а главное, с увлечением занимался естественными науками, точные методы которых и острая наблюдательность, усвоенная во время особенно любимых им экскурсий в живую природу, впоследствии так определенно сказались во всем его творчестве.

Среда, в которой жил и формировался будущий писатель, по своему бытовому укладу, трудовым навыкам и живым общественно-литературным интересам ничем не выделялась из массы петербургской разночинной интеллигенции конца 60-х и начала 70-х годов. С детства знакомый с революционным подпольем (его воспитателем был П. В. Завадский, деятель харьковского нелегального кружка Муравского, а мать с 1863 года находилась под секретным надзором полиции), сам В. М. склонен был придавать большое значение в деле своего «умственного и нравственного развития» семье известного либерального педагога А. Я. Герда, а мощное воздействие господствовавшей в ту пору народнической идеологии, увлечение «Азбукой социальных наук» Флеров-

ского и изучение «Исторических писем» Лаврова лишь довершили его общественно-политическое воспитание.

К концу 1872 года относятся первые приступы унаследованной Гаршиным от отца душевной болезни. Тяжелые нервные припадки до лета выбивают В. М. из колеи и на год задерживают окончание им средней школы. Не имея права как «реалист» на поступление в университет (куда его тянуло больше всего), ни в Медицинскую академию (где могли получить удовлетворение некоторые его интересы), он в 1874 году становится студентом Петербургского горного института.

2

Перспективы карьеры горного инженера несколько не прельщали Гаршина.

Все свободное время, остающееся от необходимых лабораторных занятий и лекций, от случайных уроков и чертежных работ, вознаграждением за которые он пополнял свой скудный бюджет; В. М. посвящает литературной работе. Чрезвычайно строгий к своим первым творческим опытам, Гаршин впоследствии уничтожил их почти полностью, но по немногим, дошедшим до нас фрагментам этой поры можно сделать совершенно безошибочное заключение о широких общественно-политических интересах молодого писателя, о неподдельном социальном пафосе, проникающем даже его ранние лирические раздумья.

Такие стихотворения, как «На выставке картин Верещагина», «Мне жалко вас, родимые места», «Пленница», «По случаю юбилея 19-го февраля» («Пятнадцать лет тому назад Россия»), одновременно подтверждают и собственное признание Гаршина о слабости его поэтических сил, недостатке технического мастерства («Нет, не дана мне власть над вами, вы, звуки милые поэзии святой») и своеобразную, не столько художественную, сколько интимно-бытовую значимость его проникновенных откликов на самые волнующие проблемы современности. В неудачной стихотворной форме уже в 1874—1876 годах проглядывают тематические контуры будущих крупнейших творческих достижений Гаршина-новеллиста.

В одном из летних писем 1875 года к А. Я. Герду (каникулярное время В. М. обычно проводил у родных — в Старобельске или в Харькове) Гаршин уже совершенно определенно говорит об открывающейся перед ним дороге: «Мои литературные замыслы очень широки, и я часто сомневаюсь в том, смогу ли исполнить поставленную задачу. То, что написано, по-моему, удачно; само

собою разумеется, что я не могу не быть пристрастным, несмотря на самое строгое и недоверчивое отношение к своим силам... Но если я буду иметь успех?! Дело в том (это я чувствую), что только на этом поприще я буду работать изо всех сил, стало быть, успех — вопрос о моих способностях и вопрос, имеющий для меня значение вопроса жизни и смерти. Вернуться уже я не могу. К к вечному жиду голос какой-то говорит: «Иди, иди», так и мне что-то дует перо в руки и говорит: «Пиши и пиши...»

• Как материал для первого печатного выступления Гаршиным были использованы некоторые беглые зарисовки провинциального быта, сделанные им в Старобельске перед самым возвращением в Петербург. Широко задуманная серия очерков уездной жизни начата была «Подлинной историей Энского земского собрания» — сатирической характеристикой пореформенной цензовой общест-венности («благородное дворянство» с «остатками прежнего величия» и «без таких остатков»; «благочестивое духовенство», известное «похвальным единодушием и твердостью в шествовании к избранный цели», дельцы с кулацкими замашками и прожектеры «джентльменского вида», понурые фигуры прочих «смертных, одетых не в рясы и не в сюртуки и т. д.). Условия капиталистического развития столь же отдаляют новых хозяев жизни от кровных интересов широких крестьянских масс, как и недавно падшие «ржавые скелеты» крепостного строя, — вот скептический итог наблюдений молодого писателя. Те настроения, которым Гаршин не рискнул дать место в подцензурном этюде (он появился в газете «Молва» от 11 апреля 1876 года), определили тематику его оставшегося в рукописи стихотворного обращения к «народу-богатырю» по случаю пятинадцатилетия реформы 19 февраля:

О, ранами покрытый богатырь!
Спеши, вставай, беда настает скоро!
Она пришла! Бесстыдная толпа
Ны дремлет; скоро выются сети,
Опутано израненное тело.
И прежние мученья начались!..

Пессимистические ноты, которые так странно осложняли в этом волнующем призыве его подлинный революционный смысл, оказались очень устойчивыми в мироощущении писателя и, постепенно развиваясь, впоследствии даже обусловили известный отрыв В. М. от наиболее активных групп современной ему радикальной интеллигенции. Этот отрыв не означал, конечно, полного отказа от идеологических предпосылок народничества, закваска которого осталась в Гаршине на всю жизнь. В его творчестве только резче,

чем в писаниях других художников слова, сказались тяжелые раздумья-годов политического краха «хождения в народ», сомнения и разочарования, связанные с первыми неудачами пропагандистской работы в деревне. Можно смело признать, что безнадежные прогнозы одного из гаршинских ранних набросков о «вечных страданиях, вечном рабстве, вечной тьме, в которой его народ осужден жить», равно как и позднейшие высказывания на эту тему, в гораздо большей степени определялись политической летописью и хозяйственной конъюнктурой конца 70-х и начала 80-х годов, чем болезненным предрасположением самой психики В. М. к художественной призме «мировой скорби».

Кровавые потрясения освободительной войны на Балканах явились для представляемого Гаршиным поколения народнической интеллигенции таким же тяжелым испытанием, как необходимость отказа от некоторых иллюзий политической ставки на революционную самостоятельность мужика.

В противоречиях, определившихся, с одной стороны, этическим неприятием войны, отвращением к принципам «железа и крови», организующим новые рамки европейских национально-государственных объединений, с другой — чисто стихийным взрывом протеста против «турецких зверств» и перспективами борьбы хотя бы за чужую свободу, трудно было сохранить трезвость политической мысли не только едва вышедшему из юношеского возраста В. М. Гаршину, но и таким закаленным общественным бойцам радикального лагеря, как вдохновитель «Отечественных записок» Н. К. Михайловский, будущий вождь «Народной воли» А. И. Желябов, таким ярким представителям революционной молодежи, как Д. А. Клеменц, А. П. Корба и др.

Голоса немногих противников балканского похода, сгруппировавшихся вокруг П. Л. Лагерова, звучали недостаточно громко и убедительно, и Гаршин, весь во власти кровавых реляций с фронта, совершенно выбитый из колеи после нескольких неудачных попыток пробраться добровольцем в Сербию, тотчас же после официального объявления о вмешательстве России в войну, бросает Петербург и вступает рядовым в выступающий в Турцию 138-й Волховский пехотный полк.

3

В томительных переходах по знойной придунайской степи, в тягостях аванпостной и боевой службы в солдатских рядах в Болгарии Гаршиным были изжиты наиболее острые проявления душевной тревоги, вызванной перед тем болезненным ощущением отрыва индивидуума от массы, беспочвенного скептика-интели-

гента от творящего волю истории коллектива. Исходя из наивной идеалистической концепции войны как почти фатального процесса столкновения наций, Гаршин в некоторых старых народнических формулировках попытался найти разрешение всех одолевавших его сомнений и противоречий. То, что самим В. М. было впоследствии так проникновенно отражено в наиболее ярких страницах «Труса» и «Воспоминаний рядового Иванова», под пером другого историографа русской интеллигенции этих лет — В. Г. Короленко — получило общепризнанное сейчас толкование невольной дани писателя следующей «философии эпохи»:

«Солдат — тот же народ, только в солдатской шинели. Народ идет на войну, мы обязаны идти с ним... Куда бы этот поток ни понес — на убийство или на смерть, — для Гаршина, как и для большинства его сверстников, в стихийно-народных процессах слышалась почти мистическая правда. Стоит окунуться в этот поток, — личная ответственность сразу исчезает в стихийной безответственности народа».

И, действительно, вспоминая впоследствии радостное чувство освобождения от своего «я», совершенно растворившегося в солдатской массе, сам В. М. отмечал, что никогда у него не было «такого полного душевного спокойствия, мира с самим собой и кроткого отношения к жизни», как тогда, когда он, испытывая все невзгоды похода, «шел под пули убивать других». Однако характерные для Гаршина четкость и острота восприятий вещей и явлений внешнего мира не изменили ему и в боевой обстановке. Его художественной памяти не ослабляют — по собственной его сентенции — «ни кровавые мозоли на ногах, ни перетянутые ранцем и винтовкой плечи, ни голодание, ни жажда». С одинаковой жадностью всматривается он и в окружающие его «серые шинели» (проверяя на живых персонажах давно знакомые книжные образы русского солдата), и в гниющие от пятидневного лежания на сслице «жирные» турецкие трупы, и в зарево горящих болгарских деревень, и в жиесписные груды гильз, патронных ящичков и ружей «Снайдера и Пибоди» на только что оставленном поле битвы. «Материалов для наблюдения оказалась бездна, — пишет он матери 26 мая 1877 года. — Если бог вынесет, я буду знать, что делать. В том, что я сумею писать и буду иметь успех, я почти не сомневаюсь».

11 августа 1877 года, как свидетельствует официальная реляция о сражении при Аясларе, «рядовой из вольноопределяющихся В. Гаршин примером личной храбрости увлек вперед товарищей в атаку, во время чего и ранен в ногу».

Рана оказалась неопасной, но заживала очень медленно. Из

прифронтового военного госпиталя в Беле, во время пребывания в котором уже определились в творческом сознании писателя контуры будущих «Четырех дней», Гаршин был эвакуирован на родину и 4 сентября доставлен в Харьков. Здесь спешно закончена была работа над привезенным художественным материалом, и рассказ, под названием «Четыре дня», был тотчас же отправлен в редакцию влиятельного органа радикальной общественности — в руководимый М. Е. Салтыковым-Щедриным и Н. К. Михайловским лучший литературный журнал 70-х годов — «Отечественные записки».

Рассказ был принят и включен в ближайшую книжку журнала. Мастерством самого построения новеллы обусловлено было признание «Четырех дней» в избранных литературных кругах, а острота непосредственного захвата в рассказе тем, особенно волновавших массового читателя в пору кровавой Балканской войны, повышала общественную значимость произведения и расширяла сферу его успеха.

Из начинающего писателя Гаршин сразу превратился в известного. Драматические коллизии намечаемых молодым автором «боевых картинок», художественно преображенных и психологически осмысленных в ранних «Четырех днях» и позднейших «Трусе» и «Воспоминаниях рядового Иванова», вскрывали с исключительной выразительностью и заражающим нервным подъемом непримиримые противоречия и ужас внешне эффектных проявлений всех движущих сил войны.

В конце ноября 1877 года, еще не успев оправиться от раны, с расстроенными нервами, не освободившись от военной службы и без определенных средств к существованию, В. М. Гаршин выехал в Петербург. «Очень уж захотелось Питера, — писал он своему товарищу по походам В. Н. Афанасьеву. — Предвижу в нем немало себе затруднений. Хотя литературная работа теперь для меня вполне обеспечена, но вот загвоздка... есть приказ, запрещающий военным служащим всякое литераторство. Но я буду писать, пока не посадят».

Это видимое пробуждение творческой энергии выразилось, однако, в ближайшие месяцы не очень ярко. В газете «Новости», в которой еще весной, до своего отъезда на фронт, Гаршин дебютировал несколькими отчетами о художественных выставках, он помещает теперь «Аясларское дело» — почти протокольную бескрайнюю запись событий, связанных с известным боевым эпизодом 11 августа, в «Стрекозу» отдает «Очень коротенький роман», а в «Отечественные записки» — рассказ «Происшествие», являющийся как бы этюдом к его же позднейшей новелле «Надежда Николаевна».

Прочных литературных связей и интересных новых знакомств, несмотря на успех «Четырех дней» и дружественный прием прочих его вещей в столичной прессе, у Гаршина в эту зиму как будто бы не определилось. Зато еще теснее стали связи начинающего писателя с кружком молодых художников, в который Гаршин вошел еще до своего поступления в полк и влияние которого сейчас сказалось в серьезной работе В. М. над собственным художественным воспитанием, в заметном подъеме интересов к общим проблемам искусства, в углублении в вопросы техники изобразительного мастерства. Очень характерна для Гаршина этой поры сцена, передаваемая Г. В. Плехановым, одним, кстати сказать, из товарищей автора «Четырех дней» еще по Горному институту:

«Я помню, как однажды, заспорив со мною о «Русских женщинах», покойный Всеволод Гаршин, очень невысоко ставивший психический талант Некрасова и резко осуждавший тогда (в годы студенчества) «тенденциозность» его поэзии, с насмешкой продекламировал:

Покоен, прочен и легок
На диво слаженный возок...

Несмотря на все свое пристрастие к поэту «мести и печали» я вынужден был согласиться, что «возок» плохо рифмуется с «легок»¹.

4

Весною 1878 г. В. М. Гаршин был произведен в офицеры, но «отличие» это связано было с возвращением в армию и необходимостью продолжения военной службы.

«При моем теперешнем состоянии здоровья (нервы) это мне смерть, — писал Гаршин 6 мая В. Н. Афанасьеву. — Если бы я был способен пьянствовать, я спился бы в Видине в месяц. Чую это и смотрю на полк, как на гроб. Мне очень плохо: хандрю, потому что не могу ничего делать, ничего не делаю, потому что хандрю». Припадки беспредметной тоски, периодически с этих пор овладевавшие Гаршиным, гнали его из Петербурга на юг, не позволяли сосредоточиться ни на одном творческом начинании, чуть было не привели в ту самую среду, на которую сам он смотрел, как на «гроб». Так, в одном из писем к товарищу-офицеру он той же весной старается осмыслить свой неожиданный проект возвращения в строй.

¹ Мы полагаем, что Г. В. Плеханов несколько ошибся в датировке этого разговора, отнеся его к студенческим годам В. М. Гаршина: в 1874—1877 годах автор «Четырех дней» еще сам был ярко «тенденциозным» поэтом и художественным критиком.

«Мы с тобой достаточно убедились в плохом положении нашей армии. Мы хотим уходить из нее именно потому, что в ней для нас скверно, душно. Если так будут рассуждать все, видящие гадость в военной среде, то никогда и среда не изменится. Не лучше ли нам влезть в эту среду? Может быть, что-нибудь и сделаем нужное. Может быть, со временем мы будем иметь возможность не дозволить бить солдата, как это делается теперь, не дозволить вырывать из его рта последнюю корку хлеба».

Однако осенью 1878 года Гаршин возвратился в столицу, добился отставки и поступил вольнослушателем на историко-филологический факультет Петербургского университета. Лекции В. М. слушал очень недолго, едва ли не один только семестр, но интерес к проблемам истории, философии, социологии, сменивший прежние увлечения естественными науками и искусством, уже не покидал молодого писателя до конца его дней.

С 1879 года новые ноты определились и в творчестве Гаршина. Если в рассказе «Трус», появившемся в мартовской книжке «Отечественных записок», писатель оставался еще в сфере своих «Четырех дней», ретроспективно восстанавливая в психологически насыщенной фабуле уже пройденные испытания войны как одного из видов «мирового зла», то в двух следующих произведениях того же года — «Встреча» и «Художники» — В. М. обращал своих старых героев в жертвы «растущей язвы» нового, еще большего «зла» — капитализма.

Вакханалия грюндерства, хищничества и ажиотажа послевоенной поры, захлестывая терявших под собой старую идейную базу интеллигентов, дала материал для напряженных диалогов «Встречи». Оба героя рассказа писателю одинаково антипатичны, и жесткая характеристика одного, откровенно приспособившегося к миру торжествующих хищников, оставляет отнюдь не более тягостное впечатление, чем саркастическая оценка другого — «благонамеренной размазни», неспособного к борьбе идеалиста, успокоившегося в сфере «малых дел», прикрывающего свое банкротство, беспомощность и оппортунизм наивными компромиссами и дешевой фразеологией. Намечаемые Гаршиным идеологические контраргументы оттеняла символическая концовка новеллы — аквариум, эффекты которого прерывают спорящих «героев».

«Маленькая рыбка порывисто металась вверх и вниз и в стороны, спасаясь от какого-то длинного хищника. В смертельном страхе она выбрасывалась из воды на воздух, пряталась под уступы скалы, а острые зубы везде нагоняли ее. Хищная рыба уже готова была схватить ее, как вдруг другая, подскочив сбоку, перехватила добычу: рыбка исчезла в ее пасти. Преследовательница остано-

вилась в недоумении, а похитительница скрылась в темный угол.

«Перехватили! — сказал Кудряшов. — Дура осталась ни при чем. Стоило гоняться для того, чтоб из-под носа выхватили кусок!.. Сколько, если бы ты знал, они пожирают эгой мелкой рыбицы: сегодня напустишь целую тучу, и на другой день все уже съедено. Съедят и не помышляют о безнравственности, а мы?..»

Символизируя в «аквариуме» Кудряшова утверждавшуюся систему капиталистических отношений, с ее «законами», сводящимися к пожиранию слабых сильными и к борьбе победивших хищников между собою, Гаршин в «Художниках» уже ставил вопрос о самой роли искусства в определившейся хозяйственно-политической обстановке.

С некоторой парадоксальностью лишь два пути разрешения проблемы намечались Гаршиным. Один, выразителем которого в рассказе являлся художник Дедов, знаменовал возвращение к традиционным формулам «искусства для искусства» и исчерпывался ответом: «Мне дела нет до того, кому и чему служит моя картина, я создавал ее потому, что процесс творчества прекрасен». Другой путь — им шел в новелле художник Рябинин — мог привести лишь к отрицанию искусства ввиду сомнений в его большой социальной действительности, недоступности массам и обреченности на служение прихотям и любопытству «желудка на ногах» — потребителя-капиталиста. Чрезвычайно симптоматично, что к отказу от дальнейшей художественной работы герой Гаршина приходит под влиянием потрясений, испытанных им в процессе создания «Глухаря» — образного оформления первых впечатлений интеллигента-народника от «согнувшегося в три погибели в темном углу котла» рабочего-заклепщика — символа поднимающегося пролетариата.

«Кто позвал тебя? — обращается к своему «Глухарю» художник, еще не отказавшийся от надежд на общественную значимость своего дела. — Я, я сам создал тебя здесь, я вызвал тебя, только не из какой-либо «сферы», а из душевного темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Прийди, силою моей власти прикованный к полотну, смотри с него на эти фраки и трены, крикни им: «Я — язва растущая!» Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил мое».

Характерные для народнической идеологии формы восприятия явлений, неразрывно связанных с самым процессом переваривания мужика в фабричном котле, разумеется, не позволили герою «Художников» до конца осмыслить и оценить все значение поразивших его лишь своим «ужасом» новых факторов исторического